



Козачка



I

Жил у нас в селе козак Хмара, богатейший человек! У него и земли, и скота, и всякого добра было вволю. Деточек ему господь дал немного — всего одну девочку, что солнышко на небе. Взлелеяли, вырастили ее, пригожую такую, уму-разуму научили. Стал шестнадцатый годок исходить Олесе; стали сваты в хату наведываться. Старики благодарят за честь, угощают, потчуют, а дочку не отдают. «Пускай, — говорят, — еще погуляет, чтобы было чем девичество вспомнить. Еще не пора заботить хозяйством молодую головку; пускай в девушках погуляет».

А уж женихов — боже мой милостивый! Где только появится она, так они роем и гудят. Да и девушка же была! Величавая, красивая, с каждым приветливая, ласковая; и поговорит, и посмеется, и пошутит; а чуть приметил, что нехорошее — так на тебя взглянет, ровно студеную водою окатит, и отойдет царицею.

Жила она у отца, у матери, не зная ни горя, ни беды. Известное дело: молоды, так и забот нет; одно на уме: как бы веселей погулять! Все так; только как хорошо и привольно ни живи, а уж надо свою беду отбыть. Захворала прежде мать, она уж и стара-таки была; похирела недели две, да богу душу и отдала. С кручины скоро помер и отец. Не зажился он на белом свете без верной

подруги: тоска его взяла. Ведь с покойницей он век молодой свековал, счастье узнал.

Осталась Олеся сиротою. Плакала-плакала она, да и привыкла наконец. Добрые люди ее не забывали: то старуха-тетка придет, тоску разгонит, то девушки прибегут, пощечечут, а подчас и с собою ее уташат. Дождались осени. Сваты не переводятся в Олесиной хате: одни за дверь, другие на порог. А она все благодарит да отговаривается то тем, то тем.

— Отчего не идешь замуж, Олеся? — спрашивает ее старая тетка. — Женихов у тебя, слава богу, как цвету в огороде, хоть пруд пруди. Чего тебе спесивиться? Парубки у нас, словно орленки, живые, ловкие, молодые. И стариковское сердце радуется, глядя на них; а чтоб девичье сердце молодое не встрепенулось и к одному не пристало!.. Я уж и не знаю, какой это теперь свет настал!

— Тетушка, голубушка! Дайте мне еще погулять.

— Пора, пора, мое дитяtko! Послушайся стариковской речи да совету. Одной тебе весело, а вдвоем с добрым мужем еще будет веселее. А что по хозяйству заботы да хлопоты будут, ты этого не пугайся. Трудиться и работать станешь не для кого другого — для самой себя; любо и похлопотать-то! Ты, слава господу, не *крепачка*¹: твой труд не пропадет даром.

— Не крепачка! Будто уж если крепачка, так и света божьего не видать. Живут же люди.

— Живут, Олеся, да уж такое их и житье!

— Если добрые паны, то и людям хорошо у них.

— Ну что ж из того, что паны добрые? Какие-то еще паненята будут! Да и добрым-то услуживай, угождай, и от добрых только и заработаешь себе, что три шага земли сырой на могилу, а от лихих... не приведи господи и слышать о них!.. Полно и вспоминать!.. Послушайся нас, Олеся, да и на свадьбе погуляем. А уж как мне-то утешно, мило будет, как благословит тебя господь семьею да зажужжат вокруг тебя деточки, словно пчелочки вокруг полного цветка!

А она все свое:

— Я еще в девушках погуляю, тетушка.

¹ Крепачка — крепостная.

А тут присылает сватов Иван Золотаренко. Олеся приняла дорогих гостей и рушники¹ им подала.

А Иван Золотаренко был крепостной. Только такой он удался пригожий, ловкий; никому и невдомек, что в горькой закрепе он взрос.

Тогда уж все догадались, кого поджидала Олеся. По селу так и заклокотало, словно в котле: «Как это можно? Да где это видано, где слыхано, чтоб вольная козачка шла за крепака?»

Услыхала старая тетка — руками всплеснула:

— Лучше б я не дожидла до этой вести! Дитя мое, Олеся, опомнись! Да если б твой отец да мать живы были, скорей бы они тебя в глубоком колодце утопили! Да их косточки встрепенутся в земле от великого ужасу и от горя! Что ты задумала? Тебя, верно, околдовали!

Уговаривает всячески старуха Олесю, и просит, и плачет.

— Нет уж, тетушка моя милая, нет! — говорит Олеся. — Понапрасну вы меня и не уговаривайте: буду за Иваном!

Старуха — к Петру Шестозубу. Нету — на ярмарку уехал. Такое горе! А Петро Шестозуб был первый чело-
век в громаде, старый-старый такой, белый, как молоко.

К Андрею Гонте — нету. К Михайле Дидичу — нету: все на ярмарке.

«Ой, несчастливый мой час! Побегу хоть к Опанасу Бобрику».

Бобрик дома. Лежит в садике под грушею и трубку покуривает. Завидел Олесину тетку.

— Будьте здоровы, — говорит, — да богу милы! Не на пожар ли бежите?

— Бог помочь вам, пан Опанас! Пришла к вам за советом. Постигла нас беда неожиданная! Соберите раду!

— Вот тебе на! Для баб раду собирать? Тогда уж точно громада была бы без разума, как синица! Сбери-тесь сами, да какая всех перекричит, та и права будет.

— Ой, пан Опанас! Это не женские привереды, несчастье у нас!

¹ Рушники — полотенца. Обычай, скрепляющий сватовство.

Да и рассказала ему все дочиستا.

На что был он человек веселый, беззаботный, а затронуло и его за живое.

— Эге! — сказал он, — чего не взбредет в глупую девичью голову! Домогается беды не кому другому, себе самой.

— Идите, пан Опанас: может, она вас послушается.

— А не послушается — прикажем! Вот и шапка. Идем!

Идут, а по всем улицам люди так и спуют, и все к Олесиной хате бегут — и старые, и молодые, даже дети бегут. Все ее уговаривают, все просят: «Не выходи за крепака, не выходи! Ты уж лучше прямо с моста да в воду!»

А парубки обступили хату.

— Не дадим *дивчину!* — кричат. — Не дадим! Вольная козачка не закрепостится на смех людям, на позор селу своему!

Как ни уговаривали Олесю, ничто не помогло, только больше ее опечалили. Хотя она и уверяла их в ответ на их сердечные да разумные советы, что не манит ее ни богатство, потому что сама богата, ни вольность.

— Что мне, — говорит, — из того, что будет вольный, если мил не будет?

А все-таки слезы у ней так и струились из глаз.

— Я вижу, *дивчино*, тебя за год не переговоришь, а за два не переслушаешь, — сказал ей наконец Опанас Бобрик. — Известное дело: женский разум куда годится! Вот затвердила одно: любый да любый! Не посмотришь на то, что за люди вокруг твоего любого. Да что понапрасну слова тратить! Она и не слушает. Будьте же здоровы, да, не спросившись броду, не суйтесь в воду: утопнете!

Сказал эти слова старик, да и поплелся к своему двору, под грушу.

Потом и мир стал расходиться. Осталась в Олесиной хате одна старая тетка в слезах.

III

Уж ночь землю осенила; поплыл по небу месяц и рассыпался яркими лучами по белым хатам. Олеся беспокойна, печальна; отворяет она окошечко, глядит... Парубки

сидят кругом ее хаты, словно цепью ее оцепили; одни гуторят, другие сидят, такие угрюмые, и голову опустили. Посмотрела Олеся, подумала, затворила окошечко и вышла. За ней — тетка.

Стала Олеся на высоком пороге, да и молвит такие речи козакам:

— Панове молодцы! Сызмальства я знала, что вы во всяком деле, всегда пристойны бывали и честны; не чаяла я от вас, козаков, такого поруганья себе! Зачем вы меня, словно врага, стережете? Ославить хотите сироту! Хоть бы тягались вы с ровнею, а то с беспомощною девушкой! Не наживете себе тем славы, панове!

— Не думали и мы, Олександр, — отозвался, выступив вперед, видный, высокий парубок, — не надеялись, чтоб старого Хмары дочка с крепакom спозналась!

— Если тебе наши парубки не пришлись по сердцу, следовало тебе это нам сказать, — заговорил другой, живой, как огонь, козак: — мы бы сами нашли для тебя жениха. Всю Украину изъездили бы, а нашли бы!

— На что мне было искать, когда господь уже послал мне друга по сердцу! Какая мне выпала доля, такая и будет; не стану ни на кого жаловаться. Хоть вы целый год меня стерегите, а я на другой все-таки выйду не за кого другого, как за того самого Ивана Золотаренка. Расходитесь, панове козаки! Расходитесь, прошу я вас просьбою, не кручиньте меня, молодую! Послушайтесь моей тетки-старухи, ее разумного слова!

— Расходитесь, мои ясные соколы! — промолвила старуха в слезах. — Уж нашему горю никто, верно, не пособит. Видно, бог так попустил, детки!

Парубки пошумели, потолковали, да и разошлись.

А Золотаренковы сваты тож осерчали:

— Отроду никто не слыхивал, чтобы так водилось у добрых людей. Подали рушники — пристало ли отговаривать, разлучать? Козаки, а порядку, обычаю не знаете! Мы хоть и крепаки, а за себя вступимся!

— Кто ж и наставит сироту, кроме нас? — отвечали старые козачки. — Нам был бы грех велик перед богом, если б мы ее не отговаривали. Не послушалась — господь с нею! Будет горько каяться, неразумная девушка, тогда вспомнит нас!

Утром пошла Олеся дружек сзывать. Куда ни заходит, всюду ей отсоветывают выходить за Золотаренка; иные даже плачут. Одних девушек матери не пускают в дружки; другие сами не захотели, а какие и пошли, то знай вздыхают да горюют об Олесе: «Невеселый девичник нашей молодой!»

Вот перевенчались; ходят по селу да на свадьбу заывают. А тут как раз им навстречу выехали люди, что из ярмарки возвращались: Петро Шестозуб, Андрий Гонта, Михайло Дидич и еще кое-кто. Петро на сивой паре впереди. Был это дед старый, весь уже белый, но еще бодрый, высокий и прямой, как явор; глаза у него блестящие, что твои звезды. Идет себе не торопясь, да и спрашивает встречного:

— А что это за свадьба у нас сладилась?

— А это, — отвечает тот, — покойника Хмары дочка перевенчалась с Иваном Золотаренком.

— С Золотаренком? Да какой же это Золотаренко?

— Крепак, пане Петро! Подданный сухомлинского пана.

Запечалился старый Шестозуб, крепко запечалился, и не проронил слова; другие так и вскрикнули с досады.

Тут поравнялись с ними молодые. Надо было приветствовать их, как бог повелел, — это первое дело. Молодые поклонились, на свадьбу просят.

Петро поднял высокую шапку:

— Бог помочь вам! Благослови вас господь долею, счастьем и здоровьем!

Молодые благодарят:

— Милости просим, добродию, к нам на свадьбу.

— Нет, молодая княгиня! Не пойду я к тебе на свадьбу: не пристало мне, старику, по свадьбам гулять. Спасибо за честь да за ласку!

А Гонта Андрий, человек кроткий, тихий, и говорит молодому:

— Ой, Иване, Иване Золотаренко! Что это ты, мой друг, наделал? Или у тебя ум девичий, что ты только о настоящем часе думал, а не размыслил о том, что будет после — да и сгубил девушку и все ее племя. Знать, правду говорят люди: «Сирота, ей и утопиться вольно!»

Сказал и покачал седой головой.

— А почему же нам не погулять у них на свадьбе? — отозвался Опанас Бобрик, взявшись под бока. — Жал девки, да уж дела не поправишь! По крайней мере погуляли бы!

— Старая, забубенная голова! — говорит ему Петро. — Опомнись! Ты б и там в пляс пустился, где все добрые люди печалются да плачут горько.

— Да что ж, пане брате! Плачешь-плачешь, да чихнешь.

— Не след теперь шутить, пан Опанас, — прикрикнули все в один голос: — не до смеху, когда такое дело делается! Ты хоть своей седой головы не срами, если уж не считаешь козачества!

— А ну-те вас, полно! Вот взаправду разорались, словно на дурака! Не идти так и не идти, и не пойду! А де вушка-то козацкого роду — надо бы и танцев козацких на ее свадьбе; да ведь с вами не сговоришь. То-то жалко!

Молодые стоят и глаз не поднимают.

— Дай же вам боже счастье и талант! Будьте здоровы как вода, а богаты, как земля! И век вам долгий, и разум добрый, пригожая пара!

Поклонились старики, да и поплелись по домам, а молодые своею дорогою пошли.

Запечалились голубчики, переглянулись: он побледнел у нее глаза налились слезами; прижались они друг к дружке.

— Милая моя, — проговорил он тихо, — мучит меня мысль, что я свет божий тебе заслонил!

— Милый мой, друг мой! — отвечает Олесья. — Что нам бог даст, то и будет, лишь бы нам с тобою вместе век свековать!

V

На другой день пошли они к панам на поклон. Не услыхала Олесья ни привету, ни совету; веселого, ласкового взгляда не видала. Паны какие-то сердитые, а уж гордые такие, что беда! «Будь покорна, — приказывают они, — работай панам, не ленись, все делай, что повелят».

И чудно и грустно было Олесе слушать такие речи! А потом и страшно ей стало. Знать, она взаправду не-

вольницею будет! Без радостей молодые годы пройдут! Без радостей краса завянет в трудах тяжелых, в неволе!

Идут по улице. Да как же тут везде глухо да скучно, боже мой милостивый! Вспомнила Олеся: бывало идет она по своему селу — тот поклонится, тот о здоровье спросит, иной рассмеется, другой остановится да про свое горе-печаль расскажет; и старые люди говорят, и молодые, и дети резвятся. Бывало солнышко чуть покажется из-за горы — уж и шум и гам везде, стук, смех, живой людской говор. А тут, если кого и встретишь, угрюмый такой идет, неразговорчивый, печальный.

Свекровь рада Олесе, как родной дочери: не знает, где посадить, чем попотчевать ее, как угодить, приласкать; да не легче от того Олесе. Свекровь уже стара была да к тому ж измучена тяжелым трудом да бедностью; веселой речи не слыхала от нее молодая невестка. То про чужую беду расскажет, то на свою плачется; только тот свет и хвалит она, словно на нашем красном, привольном свете ни добра нет, ни красы, ни правды.

Хотела бы Олеся с мужем словечко перемолвить, да и то все некогда: то одну работу справляет, то другую, то идет, то едет, а домой словно гость навевывается.

И чем далее, все хуже. Стал пан хату оттягивать: прикупил где-то семью людей, так понадобилась хата. «Ты во двор ступай, — говорит Золотаренку: — у тебя семья невелика; а захочешь, сам себе построишь: ты ведь богачку за себя взял».

Перетянули их в панский двор, а тут бог дитяtko по-слал — мальчик родился. Прижала Олеся к сердцу сыночка и облилась горькими слезами: «Сынок мой! дитя мое милое, дорогое! Погулял бы и ты на белом свете, натешился, налюбовался красой и раздольем, узнал бы приволье и радость, да горькая тебе неволя на долю выпала! Еще в пеленках тебя заклюют, сызмала забьют. Не развернуться тебе, дорогой мой цвет! Завянуть тебе распуколкою!»

VI

Живет Олеся год и другой; живет третий и четвертый. Благословил господь деточками: три сына у ней родились, как три сокола. А сколько она помучилась, сколько

слез пролила над ними! Известное дело: у дитяти забол пальчик, а у матери сердце. Идет на панцину — надо покидать; а детки — одно не говорит, другое не ходит, третье еще и сидеть не умеет: малы еще больно; пригляде за ними некому. Старуху-свекровь вскоре после Олесной свадьбы схоронили. Перетоскует, переболит она де на работе — вечером бежит: «Что-то мои деточки! А сердце у нее так и замирает. Застанет ли еще она д точек своих в живых? Здоровы ли? Разве долго до бед! У одной женщины вдруг два сына утонули, играючи во ле пруда, на берегу.

Подросли дети. Одни хлопоты прошли, приспела другая кручина: то пан Семенка шпыняет, то панычи Ивана теребят — чем-нибудь не угодил; то пани на Тышка грзится — бежал мимо да не поклонился. Каждый божий день ее деточки избиты! А если и пройдет день без биты все-таки она не спокойна, все сердце ноет, все горя д беды себе поджидает.

Стали дети в возраст входить — тут бы матери ут шаться ими да ждать от них подмоги, а их взяли в хор мы. С той поры не было Олесе ни минуты веселой, ни спокойного. День и ночь мерещатся ей ее чернявые¹ мальчики, изморенные, бледные. Сидят они в горнице молч без шуму, без говору, без игр, тихохонько. Чуть толы пошевельнутся они, чуть словечко меж собой скажу паны сейчас и крикнут: «Что там за шум? Вот мы вас в учим смирно сидеть!» Испугаются мои голубчики, да притихнут.

Каждый божий день умывается Олеся горячими сл зами: «Деточки мои! цветики мои! Не развернувшись, в завяли!»

Какое было у ней с мужем добро, всё продали, деньги порастратили. Разве на такую семью мало надо! А пани ничего не дает, да еще и сердится: «У тебя должно быть все свое: ты богатого отца дочь. Небось всего есть вволю! Если тебе жалко детей, одевай их сама у меня и без вас много расходов».

Муж с кручины совсем захирел, отупел как-то: ничем не боится, ничего не страшно ему, ничего не жалк

¹ Чернявый — черноволосый и чернобровый, но не то, что смуглый.

А сначала так даже обмирал от тоски. Не один раз Олеся со слезами молила его пожалеть детей, не губить их, когда он в отчаянии, не помня сам себя, стремглав бывало бросится из хаты, бледный, глаза горят, и взглянуть на него страшно. Олеся нежными словами да ласками успокоит его — обнимет он ее и детей, прижмет к сердцу, да так и разольется слезами.

VII

Горевали они сильно, да по крайней мере вместе; как вдруг неожиданно-негаданно беда самая тяжкая на них обрушилась: стал пан в дорогу собираться, в Москву, и Ивана Золотаренка с собой берет. Он и отпрашиваться не стал: был пан такой жестокий, немилосердный, — даром только пришлось бы кланяться.

— Прощайте, дети! — прощается со своими Иван. — Прощайте, ясные мои соколы! Почитайте мать, живите между собой согласно, никого не обижайте. Прощайте, мои детки милые! Жена моя дорогая, не поминай меня лихом, что я, несчастный, утопил тебя в бездне, да вот теперь и покидаю. Отольются мне твои слезы!

Олеся и не плачет, стоит, белая как полотно, не сводит глаз с Ивана, из рук его не выпускает. А тут пан кричит: «Скорей, скорей!» Прижал Иван в последний раз Олеся к сердцу, да и побежал. Тогда Олеся будто опомнилась; спохватилась — уж нет его, уж он далеко... только следом пыль клубится.

— Детки мои! — вскрикнула она. — Детки мои! Теперь у вас нет ни единого защитника, некому вам помогать; одни-одинехоньки остались вы на свете!

И точно: бывало хоть взглянет Олеся в милые очи, хоть слово сердечное услышит, приглубится к мужу, погорюют они вместе — все было легче, как была при ней преданная душа да верное сердце; а теперь осталась она — что былинка в поле. В селе хоть и не без добрых людей, да каждый со своей напастью бьется, на свою беду плачется. Известное дело: панского не то, так другое, а уж что-нибудь да допечет; некогда тут над чужим горем убиваться: впору и со своим сладить. Разве старухатетка прибежит Олеся проведать. Больно уж стара она

стала: сморщилась, как сушеное яблочко; а все хлопочет да суетится. Вот разве тетка приплетется да поплачет с Олесею, ее деточек благословит.

Так-то поживает Олеся; трудится она без отдыха, без устали. Год уплыл, как один час. Все на панщине, все на работе. Пани такая, что и отдохнуть не даст: работай да работай! Где люди на работе, и она туда же придет, и столик за ней вынесут, сядет да все на картах раскладывает, гадает; это у нее первая была утеха. Сидит, только глазами поводит да все покрикивает: «Делайте свое дело! Работайте! Не ленитесь!»

Как-то раз удалось Олесе вырваться; пошла она к тетке, проведать старуху в болезни, а в этот самый день в селе была ярмарка. Увидала Олеся своих подружек. Что за молодницы они стали! Славно так все наряжены, красуются, как розаны; и мужья с ними и деточки: один в лошадки играет, другой орешки пересыпает, а старшенькие новыми сапожками поскрипывают и весело каждому в глаза поглядывают. Олеся стоит в старой свитчонке, стоит она одинокая: разлучили ее с мужем, ее деточки ножки себе сморили, головку себе отуманили, панскому племени служба, словно лихой болести какой. Нет у них ни игр, ни забав детских, нет и одежки про свят день; и мать воротится — ничего не принесет, нечем ей своих деток развеселить да потешить.

Взяло раздумье Олесею; а к ней подходит то Ганна, то Мотря, то Явдоха, все знакомые, еще девушками вместе гуливали; говорят с ней приветливо и про детей расспрашивают; одна бубличка им шлет в гостинец, другая маковника.

— Спасибо, спасибо! — говорит Олеся, обливаясь слезами. — Как вы меня не позабыли, так и вас бог не позабудет!

VIII

Прошел еще год. От мужа нет вестей, словно в воду он канул. Тосковала Олеся, тосковала, да и решилась к пани идти: пани часто письма получает.

Вошла в горницу. Пани сидит и гадает на картах: не заметила Олесина прихода. Глянула Олеся вокруг себя: та самая горница с часами, куда она являлась молодая,

разряженная, в цветах, сама свеженькая, как цветочек... а теперь? Боже мой милостивый! Она ли это? Стоит какая-то женщина старообразная, измученная, робкая... Все вспомнулось Олесе. «Пропал, — думает она, — мой век молодой!»

— Милостивая пани! Скажите мне, как поживает мой муж на чужой стороне? — говорит она с поклоном.

— Боже мой, — закричала пани, — пропало всё гаданье! А, чтоб тебе добра не видать! Чего в глаза лезешь? Что тебе надо?

— Вы получаете от пана письма... Что подельывает там мой муж Иван?

— Умная ты голова, нечего сказать! Да разве пану не о чем больше писать, как только о твоём муже? А?.. Что с ним? Каково ему? Служит, вот и все!

— Привык ли, милостивая пани? Здоров ли?

Вошли два паньча, слушают да усмеваются. А пани так и загремела.

— Что ты себе в голову вобрала? — закричала она на Олесю. — Пан станет меня уведомлять, здоров ли твой муж! Верно, ты пьяна или уж отроду такая бестолковая! Пошла вон! ступай! Выгоните ее!

Оба паньча бросились на нее и вытолкали ее за дверь.

«Не свижусь я уж с Иваном, не услышу об нем! — думает Олесья. — В несчастный час мы сошлись да слюбились!»

А тут, недели через две, получается письмо от Ивана. «Живы ли, здоровы ли вы, — пишет он, — дети мои милые и жена любимая? А я все хвораю; кажись, и помер бы, да поддерживает меня надежда: авось еще приведется мне увидеть вас и Украину родную! Как-то вы живете-можете? Почитайте мать, сыны мои милые, крепко любите друг друга. Боже вас всех благослови! Гостинца я вам переслать не могу: хоть и щеголяю я в серебряных пуговицах, а нету у меня ничего за душою. Случается, пан в гостях засидится — а я целый день голодай, разве добрые люди накормят. Что и толковать! Кому не было добра сызмала, не будет его и до смерти!»

— Одинаковое нам счастье, Иван мой! — говорит Олесья плача. — Знала бы я грамоте, я б к тебе без конца письма писала, каждый день письма бы посылала; а теперь надо кому-нибудь поклониться да написать попро-

силь. Напишет ли кто так искренно, так горько, как у меня на сердце?

— Пошла просить дьячка.

— Хорошо, — говорит дьячок, — я напишу; а что мне за это перепадет?

Взглянула на него Олеся — красный такой, одутловатый, веселый: верно, гульнуть любит и горелку тянет. Нельзя надеяться, чтобы он сходно взял.

— А сколько вам, добродию?

— Сколько? Дашь два золотых и кварту горелки?

— Добродию! Будьте милостивы...

— Ну иди, других проси, а нас не беспокой.

— Да пишите уж, пишите, бог с вами! *Он* нашего письма ждет.

Она говорит, а дьячок пишет. Больше Олеся слез пролила, чем слов вымолвила. Бедняжка так тоскует, так убивается, что дьячок только головою трясет, а наконец и говорит:

— Слышите, молодлица! Дадите вы мне две двадцатки и кварту горелки?

— Ой, добродию! Будьте милостивы! Надо еще писать: я еще не все сказала.

— Да напишу, напишу... полно!.. А ты не приноси двух двадцаток — не надо!

— Как же, добродию? Сколько же вы возьмете?

— Ничего! — крикнул дьячок словно с досадой, да тотчас утих и говорит ей: — Как я кончу, пойдем-ка с горя да с печали выпьем по чарке.

— Спасибо за вашу ласку, добродию, а пить я не буду. Дай вам божия мать долю счастливую и здоровье! Спасибо вам!

— Да, кстати, давай, я твое письмо по почте отправлю. Где уж тебе самой хлопотать!

— А что за это?

— Ничего. Люди знакомые, и так возьмут.

IX

Отослал дьячок письмо Ивану; да неизвестно, прочел ли его бедняга. Скоро пришла от пана весть, что Иван помер. Да еще пан писал, чтоб отправили к нему старшего

паныча и при нем кого-нибудь из прислуги. А меньшого паныча приказал в столицу снаряжать.

Начались хлопоты: снаряжают панычей в путь. Стали им слуг выбирать, и как раз выбрали Золотаренков. Велели позвать Олександру. Тут только и вспомнили о ней, а то никто и не подумал о том, какое ей господь тяжелое испытание послал.

Пришла она, пани и говорит ей:

— Снаряжай сыновей в дорогу: они с панычами поедут.

А она стоит, смотрит пани в глаза, словно не понимает, что ей говорят, только побелела, как мел. Пани рассердилась.

— Что ты, глуха, что ли? — кричит она. — Или онемела?

Упала несчастная, не может слова вымолвить, только рыдает да руки поднимает.

Как вспылила пани, как накинулась на нее! «Да я с тобой то и то сделаю!»

Так напустилась, точно она невесть какое преступление сотворила: своего родного дитяти пожалела. Да ведь и сам господь повелел своих детей жалеть, а ее обидели и надругались над нею и из хором ее прогнали. Что чувствовало тогда ее измученное сердце, никто того не знал, никто о том не спрашивал.

Надо сыновей на чужую сторону снаряжать... Воротятся ли они старую мать схоронить? Или, может, как отец, сами там поляжут и головки их никто не оплачет! А может быть, ее деточки, ее соколы ясные всякому злу научатся? Теперь она их провожает добрых и честных, а может быть, доведется ей увидеть их такими, что не дай бог! Кто им добрый совет подаст? Кто уму-разуму научит?.. А тут бедность, нужда горькая, не с чем и в дорогу собрать: ни рубашечки, ни платья годного. Какое было еще добро, последнее продала Олеся, детей снарядила, и на смертный случай себе ничего не оставила.

В последний раз заснули сыновья дома. Она сидит... сидит ночь целую над ними, тихо и горько плачет. Последнюю ночь ночуют! Что времени-то пройдет, пока она опять свидится с своими голубчиками, и свидится ли?

Вот уж и солнышко всходит. Звякнул колокольчик...

Ведет Олександра детей, обливается слезами, и все только благословляет их да крестит.

— Панычки, — проговорила она, в ноги им кланаясь, — будьте к моим ребятишкам милостивы!

А панычи отвернулись от нее.

— Матерь божия! — воскликнула Олександра рыдая. — Я тебе своих детей вручаю! Сыны мои, сыны мои!..

Да и повалилась наземь, как скошенная трава.

Х

Кому, говорят, век несчастный, тому и долгий; так и Олександре. Прогоревала она еще несколько лет с маленьким своим Тышком. О старших сыновьях ни слуху ни духу; может, паны и пишут, да паны никогда ничего не скажет.

Пани меж тем продала село и переехала на житье в город. Взяла с собой Олександру да еще несколько человек. Если б кто знал или захотел ее вразумить, то Олександра, оставшись вдовой, опять бы могла выйти на волю. Да что ей теперь и в воле?

Олександра так ослабела здоровьем, что и работать ей не под силу стало. А пани сердится. «Даром, — говорит, — мой хлеб ешь!» А потом уж совсем разгневалась. «Ступай себе, — говорит, — на все четыре стороны! Если не хочешь работать, так и есть не проси. Ступай со двора и мальчишку своего бери!»

Вышла Олександра с панского двора и Тышка с собой вывела. «О, — говорит, — панское дворище! Чтоб от веку до веку ничего доброго не входило в тебя!»

Пошла она наниматься; да с неделю под заборами ночевала, пока нашла себе место у какого-то кузнеца. А кузнец этот такой был, что хоть бы паном ему быть: сердитый да сварливый такой, господи боже! И жену ругает и дочь, а как напьется, все от него через окно разбегаются: тотчас лезет драться. Да еще и кричит:

— А почему ж мне жену не бить (или кого там придется)? Надо всех бить! Ведь меня били же!

— Разве я виновата? — плачет жена.

— А как же не виновата? Один за другого должен отвечать!

Вот какого кузнеца выковали!

Если б кто увидел, как несет бывало на гору ведра с водою старая, бедная женщина, а за нею чернявый мальчик припрыгивает, узнал бы он в ней Олександру, богатую козачку, гордую невесту?

Не прослужила она месяца, захворала. Гонит ее кузнец из хаты. Куда идти? Побрела в панский двор. Только она в ворота, а пани уж встречает ее злобными словами. «Что, — говорит, — вынянчила сынка-вора? Твой Семенко паныча обокрал. Да погоди только, погоди! А ты зачем пришла?.. Больна? Гоните ее со двора, гоните!»

Вывели Олександру с подворья и бросили под забором одну, беспомощную, с маленьким Тышком. Плачет, беденький мальчик, плачет!

— Боже мой милый! Семенко мой — вор! Ой, Семеночко, Семеночко, дитя мое доброе, правдивое! Каково-то мне слушать это! Тебе и отец приказывал, сыночек мой несчастный! Вспомни свою мать старую!

А Тышко не смыслит ничего, обнимает ее да все уговаривает:

— Не печальтесь, мама, не плачьте. Семенко вернется. И Семенко и Ивась, оба приедут.

Уговаривал, уговаривал, да и заснул около матери.

XI

Рассветает; проснулся Тышко, да и пошел милостыньку просить. Смотрит Олександра, как ее дитя ручонки протягивает встречным людям. Кто копеечку даст, кто бублик; тот ему головку погладит, другой отпихнет. Все видит Олександра.

Вдруг подходит к ней какой-то человек и спрашивает:

— Зачем ты тут лежишь? Чья ты?

И расспросил ее обо всем.

— Пойдем ко мне, — говорит, — побудешь у меня, пока выздоровеешь.

И повел ее с Тышком с собою.

Человек этот был вдовец; жил вместе с матерью; была у него маленькая дочка. Были они зажиточные горожане, мещане, жили хорошо; всего у них вдоволь: чего

хочешь, того просишь! А какие добрейшие были они люди, и сказать нельзя! В одну неделю Тышко налился, как красное яблочко, так и катается по двору. Олександра не натешится, на него глядя; поздоровела, помолодела.

— Наймись у нас за детьми ходить, — говорят ей; а она душою рада.

Нанялась, живет у них тихо, мирно. Все бы хорошо, да сушат ее мысли о Семенке...

— Э, э, — говорит хозяин, — чего печалиться? Может, беда еще не так велика, как тебе думается. Расспросика, где он теперь. Если у паныча, значит паныч простил.

Вечеру, тихонько от пани, прошла Олександра на панский двор и расспросила обо всем у дворовых людей.

— Слыхали мы, что крепко твоего Семенка наказали, а паныч оставил-таки его при себе.

— Ну что? — спрашивает ее хозяин, когда она вернулась.

— Да вести хорошие, паночку! — говорит Олександра, а сама плачет. — Радостней этих мне не слыхать!

— Полно плакать, бедняжка! Панычи не будут век жить на чужой стороне: приедут, и ты сыновей увидишь. Ты припаси им лучше что-нибудь, чтоб им было за что мать поблагодарить.

А она уж сундучок себе купила, сшила кошелечек да всё деньги туда складывает. «Это моим деткам», — думает.

Бывало придет хозяин с рынка, да и кличет Олександру:

— А ну, иди-ка сюда, голубушка! Вот тебе новенький целковый: поменяем-ка на старый.

Бежит Олександра, меняется, благодарит его да радуется, как малое дитя. Полюбуется новыми деньгами — как они славно блещут! — и спрячет деточкам.

Пришлось хозяину выехать куда-то далеко на хутор; зовет он и Олександру с собою. Да когда бы пани ее отпустила!

Приходит она к пани — просить, чтобы ей бумагу выдали; а пани говорит:

— Я не хочу! Не дам тебе бумаги и ехать не пушу. Ты должна мне оброк платить. Сколько ты получаешь?

— Два рубля в месяц, пани!

— Ну, плати мне два рубля в месяц, так я пушу.
— Да мне одеться надо самой и мальчика одеть.
— А мне еще больше твоего надо! Ты какую-нибудь свитчонку накинешь — тебе все равно, а нам по-людски надо жить.

И не пустила.

— Дай уж ей два рубля, — говорит хозяин, — а мы тебя не обидим.

Пани опять не соглашается, говорит:

— Дай три рубля; да еще и за три не отпущу.

Ходил и сам хозяин, просил ее. «Не хочу!» — да и только. Так он один и поехал.

— Не приведи господи, — сказал он на прощанье, — с такими людьми знаться и видеться даже с ними, как твоя пани!

XII

Опять взяла пани Олександру во двор, а Тышка в хоромы. К матери бывало его не пустят, разве украдкой прибежит на часок.

Тяжело заболела бедная Олександра. Лежит она, и воды некому ей подать; лежит и смерти ждет. Не было подле нее никого, кроме старого, хворого панского ключника: он безвыходно сидел в хате.

— Братец мой ласковый, — проговорила Олександра, — позовите Тышка, я хоть благословлю свое дитя: господь мне смерть посылает.

— Вашего Тышка нету, сестра. Я видел — он с пани поехал.

— Благослови ж его мать божия! — сказала она со слезами. — Дитя мое милое!.. Дети мои! Дети! Вас, как цветку, по всему свету, только при матери ни одного нет; некому усталые глаза мне закрыть! Вырастила я вас людям на поруганье!.. Где же вы, мои голубчики, мои соколы ясные?

Как-то перемогся старый ключник да кликнул людей. Вошли в хату. Олександра глянула:

— Добрые люди, поднимите меня!

Подняли. Сняла она кошелечек с шеи и подала им:

— Это моим детям... шесть целковых... отдайте... Коли вы бога боитесь, научайте моего Тышка добру... не оби-

жайте бедного сироту (а слезами так и обливается);
будьте к нему милостивы!.. Смерть постигает меня, оди-
нокую... Вырастила себе трех сынов милых, как трех го-
лубей сизых, да нету при мне ни одного... Сыны мои!
Дети мои!

Как жила она, так и умерла в слезах.

А пани и похоронить ее хорошенько не хотела, не то
что помянуть. Дворовые люди сами и похоронили, и по-
мянули бесталанную.

